



*Сын праха! Аромат цветочный,  
Синь неба, ветер в камышах  
Вели к беседкам в сад полночный,  
Где слышался твой дерзкий шаг.*

Эмили Бронте\*

## Пролог

Прошлое — это другая страна: там все иначе.

Дневник я нашел на дне красной картонной коробки, основательно помятой, в детстве я держал в ней круглые отложные воротнички. Кто-то — скорее всего, мама — убрал в нее мои сокровища тех времен. Два высохших и пустых морских ежа; два ржавых магнита, большой и поменьше, почти совсем потерявшие магнитные свойства; туго скатанный ролик фотопленки; обломки сургуча; маленький секретный замок с тремя рядами букв; моток очень тонкой бечевки и еще два-три непонятных предмета, о назначении которых можно было лишь догадываться: Бог знает, от чего их отвинтили или отломали. Реликвии не были грязными, не были они и чистыми, просто потемнели от времени; я взял их в руки впервые за пятьдесят лет. Воспоминания едва теплились, как сила притяжения в магнитах, и все-таки они жили — я вспомнил, что значила для меня каждая из этих вещей. Что-то на мгновение вспыхнуло во мне: тайная радость узнавания, почти мистическая дрожь, какая охватывает завладевшего чем-то мальчишку — в шестьдесят с лишним лет от этих чувств стало даже неловко.

Это была переключка наоборот: дети из прошлого выкликали свои имена, а я отвечал: «Здесь». И только дневник не хотел вставать в общий строй.

---

\* Перевод Н. Эристави.

Кажется, это был подарок, привезенный кем-то из-за границы. Форма, витиеватые буквы, фиолетовая мягкая кожа, чуть загнутая по углам, — вещь явно из чужих краев; обрез позолочен. Из всего, что лежало в коробке, это, пожалуй, была единственная ценная вещь. Наверное, я очень дорожил ею, но почему же тогда не могу вспомнить, что с этим дневником связано?

Просто взять и открыть его? Не хотелось — ведь он бросал вызов моей памяти. Я всегда гордился ею, считал, что она не нуждается в подсказках. И вот я сидел и смотрел на дневник, как смотрят на незаполненные клеточки в кроссворде. Но озарение не приходило, и тогда я взял замок с секретом и стал вертеть его в руках, потому что вдруг вспомнил, как в школе мне всегда удавалось открыть его: каким-то шестым чувством я угадывал комбинацию букв, которую составлял кто-нибудь из одноклассников. Это был один из моих коронных номеров, и в первый раз я даже сорвал аплодисменты, потому что заявил: чтобы открыть замок, мне нужно впасть в транс, ото всего отрешиться. Тут не было лжи, я и вправду изгонял из головы все мысли, а пальцы бегали по замку без всякой системы. Тем не менее для пушшего эффекта я закрывал глаза и легонько покачивался взад-вперед, стараясь усыпить сознание, пока не изнурял себя; я обнаружил, что и сейчас словно перед публикой проделываю этот фокус. Не знаю, сколько прошло времени, но вот внутри раздался еле слышный щелчок, и половинки замка разошлись в стороны; в ту же секунду словно и в мозгу моем что-то податливо шелкнуло, молнией вспыхнул секрет дневника.

Но и тогда я не стал трогать его; собственно, нежелание открывать дневник возросло, ибо я вспомнил, почему смотрю на него с опаской. Я отвел взгляд, и мне показалось, что разлагающая сила дневника исходит от всех предметов в комнате, все кругом вопиет о разочаровании,

о поражении. Словно этого было мало, меня окружили укоризненные голоса: почему поддался унынию, почему опустил руки? Под этим двойным огнем я сидел и смотрел на разбросанные вокруг пухлые конверты, перевязанные красной тесьмой стопы бумаги, — надумал разбирать их зимними вечерами, и почти первой под руки попалась красная картонная коробка; я и жалел себя, и казнил себя — если бы не этот дневник, не то, что за ним стоит, все могло быть иначе. Я бы не сидел в этой безрадостной и затхлой комнате, где на окнах даже не задернуты занавески и видно, как по стеклу бегут капли холодного дождя; не размышлял бы над реликвиями прошлого и над необходимостью их разобрать. Я бы сидел в другой комнате, окрашенной радугой, и смотрел не в прошлое, а в будущее; и кто-то сидел бы рядом со мной.

Так я подумал и, как обычно, повинуюсь воле, а не желанию, вытащил дневник из коробки и раскрыл его.

«Дневник на 1900 год» — эти слова были выведены каллиграфическим почерком, какой сегодня нигде и не встретишь; а вокруг цифр, столь уверенно провозглашавших приход нового столетия, с надеждой теснились знаки Зодиака, и каждый из них сулил полнокровную и радостную жизнь, прекрасную, но в каждом случае прекрасную по-своему. Как же хорошо я помнил их, облик и позу каждого; помнил и другое: какой волшебной силой мы их наделяли — сейчас эта сила на меня уже не действует, — с каким трепетом ждали, когда осуществится обещанное ими; ждали все: и дети из простых семей, и дети с отменной родословной.

Рыбы беззаботно резвились, словно не было в природе сетей и крючков; Рак подмигивал, будто знал, что выглядит весьма забавно, и смеялся вместе со всеми; и даже Скорпион волочил свои жуткие клешни с веселым и торжественным видом, словно его злонамеренность была

просто легендой; Овен, Телец и Лев несли в себе все черты настоящих мужчин; нам казалось, что и мы, когда вырастем, станем похожими на них: беспечные, благородные, самостоятельные, они величаво правили в отведенные им месяцы. Что до Девы, по сути единственной женщины на всю Галактику, затрудняюсь сказать, как я ее тогда воспринимал. Тело ее было прикрыто, хотя одежду заменяли длинные волнистые пряди волос; пожалуй, узнай о ней школьные учителя, им вряд ли понравилось бы, что я часами созерцаю ее и думаю о ней, хотя эти мысли, как мне сейчас кажется, были совершенно невинными. Она была для меня ключом ко всей системе, высшей точкой, краеугольным камнем, богиней — ибо в те годы (но не теперь) моему воображению позарез требовалась иерархия; я считал, что все в жизни происходит по восходящей, круг наслаивается на круг, ярус на ярус, и регулярная смена месяцев никак не влияла на эту теорию. Я знал, что год вернется в зиму и начнется сначала, но на Зодиаке, казалось мне, эти ограничительные периоды не распространялись: по восходящей спирали знаки Зодиака взмывали в бесконечность.

Завоевывать новые пространства и уноситься ввысь подобно некоему божественному духу — таким я видел главный принцип моей жизни, его же применял и к надвигающемуся столетию. Я не мог его дождаться. «Тысяча девятьсот, тысяча девятьсот», — с восторгом распевал я; когда старый век уже дышал на ладан, я начал волноваться — а доживу ли до появления его преемника? Этим мрачным мыслям было оправдание: я часто болел и имел представление о том, что такое смерть, но, главное, я боялся пропустить нечто бесконечно важное — приход Золотого века. Только так и не иначе я воспринимал новое столетие: во всем мире наступит гармония и сбудутся мои сокровенные мечты.

Некоторыми, но отнюдь не всеми планами на будущее я поделился с мамой, и на Рождество она подарила мне дневник, дабы я мог достойным образом запечатлеть вехи славного пути.

В моих сладостных зодиакальных фантазиях звучала одна дребезжащая нота, и, чтобы не портить себе настроения, я старался к ней не прислушиваться. Вписываюсь ли в общую картину я сам — вот что меня беспокоило.

Мой день рождения приходился на конец июля, и я мог с полным основанием считать себя Львом, но трезвонить об этом на всю школу не собирался. Я обожал этот знак и все, что он символизировал, но уже не мог отождествить себя с ним — когда-то я, подобно другим детям, с восторгом прикидывался каким-нибудь зверем, но безвозвратно утратил эту способность. Такой ущерб моему воображению нанесли полтора семестра, проведенные в школе, впрочем, дело было не только в этом. Я уже отпраздновал свой двенадцатый день рождения, и мне нравилось думать о себе как о мужчине.

Кандидатов было всего двое: Стрелец и Водолей. Мою задачу усложнил художник, который, видимо, умел изображать лишь несколько типов лиц, и эти двое вышли очень похожими друг на друга. В общем, это был один и тот же человек, выбравший разные ремесла. Он был силен и крепок, что меня очень устраивало, потому что в одном из честолюбивых видений я являлся себе этаким Геркулесом. Все же я склонялся к Стрельцу — он казался мне более романтической фигурой, к тому же мысль о стрельбе была мне по душе. Правда, мой отец всегда бранил войну, а ведь именно она была профессией Стрельца; что касается Водолея, я, конечно, понимал, что он приносит большую пользу обществу, и все же думал о нем лишь как о скотоводе, в лучшем случае как о садовнике, а ни тем ни другим я становиться не желал. Эти двое

привлекали меня, но и отталкивали; возможно, я завидовал им. Изучая титульный лист дневника, я старался не смотреть на сочетание Стрелец — Водолей, и когда вся система знаков взмывала к зениту, прихватывая с собой двадцатый век, чтобы покурлесить на небесах, я иногда умудрялся исключить эту пару из игры. В общем, ни один зодиакальный портфель мне не подходил, и приходилось поклоняться Деве.

В знаках Зодиака я разбирался лучше всех в классе — тут польза от дневника была очевидной. В других отношениях его влияние не было столь благоприятным. Я хотел быть достойным дневника, его фиолетовой кожи, золоченого обреза, вообще его великолепия; значит, и записи должны быть на положенном уровне. Надо, чтобы речь в них шла о чем-то стоящем, чтобы слог был безукоризненным. К понятию «стоящий» я уже тогда предъявлял довольно высокие требования и считал, что школьная жизнь лишена событий, которые не померкнут под такой роскошной обложкой, да еще в 1900 году. Что же я все-таки туда записывал? Злосчастная история помнилась отчетливо, а все, что ей предшествовало, — нет. Я начал листать страницы. Записей было немного. «Чай с папой и мамой К. — чрезвычайно весело». Дальше более изысканно: «Чрезвычайно милое чаепитие с родственниками Л. Сдобы, пшеничные лепешки, пирожки и клубничное варенье». «Ездили в Кентербери в трех экипажах. Посетили собор, очень интересно. Кровь Томаса Бекета\*. *Très\*\** потрясающе». «Прогулка к замку Кингсгейт. М. показал мне свой новый ножик». Так, первое упоминание о Модсли: я стал листать страницы быстрее. Ага, вот —

---

\* Бекет Томас (1118–1170) — английский церковный и политический деятель. Выступал против политики короля Генриха II, по приказу которого был убит в 1170 г.

\*\* Очень (*фр.*).

эпопея с Лэмбтон-Хаусом. Так называлась частная школа по соседству, наш извечный соперник. Они для нас были все равно что Итон для Харроу. «Принимали у себя Лэмбтон-Хаус. Ничья — 1:1». «Играли с Лэмбтон-Хаусом на выезде. Ничья — 3:3». Наконец: «Последний и решающий матч, переигровка. Лэмбтон-Хаус повержен 2:1!!!! Оба гола забил Макклинтон!!!»

Потом некоторое время — никаких записей. Повержен! Сколько мне пришлось выстрадать из-за этого слова! Мое отношение к дневнику было двойственным и противоречивым: я страшно им гордился и хотел, чтобы все видели его и прочли написанное в нем, в то же время инстинкт не позволял мне раскрывать свою тайну, и дневник я никому не показывал. Как поступить? Часами я взвешивал все за и против. Представлял, как дневник переходит из рук в руки под восхищенный шепот одноклассников. Мой престиж немедля возрастет, и я не премину этим воспользоваться — незаметно, но вполне ощутимо. С другой стороны, у меня есть нечто сокровенное — колдовать над дневником втайне от всех, холить его и лелеять, забываться в грезах о созвездиях Зодиака, размышлять над славной судьбой двадцатого века и испытывать пьянящую дрожь от сладостных предчувствий. Эти маленькие радости исчезнут, стоит только сказать о них или хотя бы рассекретить их источник.

Поэтому я старался получить двойное удовольствие: намекал на некое заветное сокровище, но что это за сокровище — не говорил. Какое-то время такая политика приносила успех, ребята зажигались любопытством, задавали вопросы: «Ну а что это такое? Скажи». Но я с наслаждением уклонялся от ответа: «Неужели вам так уж хочется знать?» Я напускал на себя вид «сказал бы, да не могу», на лице появлялась загадочная улыбка. Я даже поощрял вопросы типа «животное, растение или мине-



рал», но как только становилось «горячо», безжалостно прерывал игру.

Возможно, я как-то себя выдал; во всяком случае, произошло то, к чему я был совершенно не готов. Все вышло внезапно, сразу, в одну из утренних перемен, в тот день я не заглядывал в свой стол. Меня вдруг окружила толпа гогочущих школяров, они скандировали: «Кто сказал «повержен»? Кто сказал «повержен»? И тут же скопом кинулись на меня; я оказался на земле и подвергся самым разным истязаниям, а ближайший ко мне истязатель, — он, как и я, едва дышал под грудой тел — без усталости кричал: «Ну что, Колстон, повержен?»

Еще как! Всю следующую неделю, которая показалась мне вечностью, на меня нападали по меньшей мере раз в день — не всегда в одно и то же время, заводили тщательно выбирали подходящий момент. Иногда день близился к концу и мне уже казалось: ну, сегодня пронесло, как тут же глазам моим представала гнусная шайка, замышлявшая недоброе; раздавался клич «повержен!», и вся орава набрасывалась на меня. Я быстро признавал себя поверженным, но прежде чем получить пощадку, успевал нахватать изрядное количество тумачков.

Как ни странно, при всем идеалистическом восприятии будущего к настоящему я относился с полным реализмом: мне и в голову не приходило сопоставлять мою жизнь в школе с приходом Золотого века или дуться на двадцатый век, который бросает меня в беде. Не было ни малейшего побуждения написать слезливое письмо домой или наябедничать кому-нибудь из учителей. Это напыщенное слово — повержен — я написал по своей воле, стало быть, сам во всем виноват, а посему общество вправе наказать меня. Однако мне отчаянно хотелось доказать, что я не повержен; сила мне не помощница, значит, надо действовать хитростью. Дневник, к моему удивлению, мне

вернули. Если не считать того, что весь он был исчеркан словом «повержен», вернули в целостности и сохранности. Я отнес это на счет их великодушия; сейчас мне кажется, что свою роль здесь сыграло благоразумие — они боялись, что я заявлю о пропаже дневника как о воровстве. Заявить о краже по негласным законам школы не возбранялось, вот если бы я пошел ябедничать, что ребята не дают мне житья, — это другое дело. Короче, тут у меня претензий к ним не было, но я страстно желал положить конец преследованию и поквитаться с обидчиками. Поквитаться, не более того: мстительным я не был. К счастью, издевательские слова они написали карандашом. Я взял испоганенный дневник и, уединившись в туалете, принялся стирать их; именно за этим механическим занятием, не требующим работы мозга, меня осенило.

Они, наверное, думают, полагал я, что дневник навеки опорочен, и я уже не смогу черпать в нем самоуважение — собственно, они были почти правы, ибо поначалу мне казалось: после того, как над дневником надругались, он потерял магическую притягательность, я даже не мог смотреть на него. Но по мере исчезновения дразнящих слов «повержен» дневник вновь стал обретать для меня ценность, сила его возвращалась. А что, если сделать его орудием мести? Это будет справедливо — и поэтично. Более того, своих врагов я застану врасплох, у них не вызовет подозрений ружье, ствол которого они так тщательно забили. В то же время им не избежать и угрызений совести, дневник в качестве орудия мести напомнит им о причиненной мне боли, а мой удар будет еще чувствительнее.

Тут же, в тиши моего убежища, я принялся усердно готовить месть; потом, чуть надрезав палец, обмакнул ручку в выступившую кровь и написал в дневнике два проклятья.

Сейчас они сильно выцвели и пожелтели. Текст все-таки можно было разобрать, но осмыслению он не поддавался; лишь два имени, ДЖЕНКИНС и СТРОУД, были выведены заглавными буквами со зловещей четкостью. Написанное и раньше едва ли кто мог осмыслить, потому что смысла в этих проклятьях не было: я состряпал их из цифр, алгебраических символов и врезавшихся в память букв санскритского алфавита, над которыми когда-то сиживал, читая в переводе «Шагреновую кожу». За ПЕРВЫМ ПРОКЛЯТЬЕМ следовало ВТОРОЕ ПРОКЛЯТЬЕ. Каждое заняло страницу. На следующей странице дневника, в остальном чистой, я написал:

ТРЕТЬЕ ПРОКЛЯТЬЕ  
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ПРОКЛЯТЬЯ ЖЕРТВА УМИРАЕТ  
Начертано моей рукой  
и написано моей КРОВЬЮ  
ПО ПРИКАЗУ  
МСТИТЕЛЯ

Буквы изрядно поблекли, но и сейчас дышали злобой, и сейчас могли привести суеверного человека в смятение, и мне следовало бы устыдиться их. Но стыда я не ощутил. Наоборот, я позавидовал себе — тогдашнему мальчишке: он не хотел безропотно сносить оскорбления, не имел понятия о миротворстве и был готов поставить на карту все, лишь бы завоевать уважение общества.

Что выйдет из моего плана, я представлял смутно, просто убрал дневник в ящикек стола, нарочно оставил его не запертым, даже чуть-чуть приоткрыл, так что виднелась обложка дневника — и стал ждать.

Ждать пришлось недолго, и результаты оказались весьма неприятными. Через несколько часов вся орава навалилась на меня, и на этот раз меня отвалтузили больше, чем

когда-либо. «Повержен, Колстон, повержен!» — кричал Струод, умудрившийся сесть на меня верхом. — Ну, так кто из нас мститель?» — И пальцами он надавил мне под глазами — шутка, от которой, как известно, глаза вылезают из орбит.

В ту ночь я лежал в кровати, и из моих воспаленных глаз впервые текли слезы. Я учился в школе второй семестр; раньше ко мне относились не хуже, чем к другим, тем более я никогда не был козлом отпущения и теперь просто не знал, что предпринять. Меня загнали в тупик. Все мои учителя были старше меня, и я едва ли мог подговорить ребят дать им бой. А раз так, бесполезно искать чьего-либо сочувствия. Созывать добровольцев, если дело доходило до драки, — это пожалуйста, это твое право; но плакаться кому-то в жилетку, просто чтобы тебя пожалели — такого не бывало. Со мной в комнате жили еще четверо (один из них — Модсли), и все они, естественно, знали, в какое я попал положение; но ни один из них не смел и обмолвиться об этом, даже когда они видели мои ссадины и синяки — возможно, в такие минуты тем более. Даже сказать: «Не повезло», — считалось дурным тоном, это значило бы, что я сам не в силах справиться с выпавшими на мою долю трудностями. Все равно что указать человеку на его физический недостаток. Пожар в своем доме каждый тушит сам — в школе этот закон носил абсолютный характер, и я первый был готов голосовать за него обеими руками. Я пришел в школу позже других и безоговорочно принял все существовавшие до меня порядки. Я был соглашателем: мне и в голову не приходило, что причина моих страданий кроется в самой школьной системе, а может, в жестокости человеческих сердец.

Однажды соседи по комнате все же проявили по отношению ко мне редкий такт, о чем я и сейчас вспоминаю